

УДК 57.06

ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМАТИКЕ

© 2003 г. А. А. Стекольников

*Зоологический институт РАН
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 1
e-mail: acari@zin.ru*

Поступила в редакцию 4.03.2002 г.

Цель систематики как науки – достоверное, истинное знание. Стремление к достоверности своих результатов систематик проявляет, в частности, стараясь составлять такие описания видов и других таксонов, которые позволяли бы узнать описанное. Но диагноз таксона имеет двойственную природу. Он составляется на основе описания уже изученного материала, однако используется в качестве инструкции по узнаванию (определению) нового материала. В связи с этим истинность диагноза состоит в том, что он может служить объяснением или обоснованием акта узнавания. Такое понимание истинности менее противоречиво, чем представления о соответствии системы таксонов эволюционной истории. Поэтому перспективна теория систематики, опирающаяся на диагностику, а не на классификацию.

Знание о разнообразии живых существ, рассматриваемое в качестве научной дисциплины, неизбежно предполагает вопрос об истинности этого знания. Даже предельно сниженное представление о науке как о наборе разнообразных и преимущественно практически полезных сведений, вероятнее всего, будет включать требование добротности научной продукции, следовательно, – соответствия научного знания предмету. Разумеется, авторы работ по теории систематики не занимаются разработкой определения истины и ее критериев: эти категории справедливо считают предметом изучения философии. Понятия истины, достоверности, научности, когда это необходимо, заимствуют у той или иной философской школы, например у “критического рационализма” К. Поппера (Песенко, 1992) или учения Р. Штейнера (Любарский, 1996).

Подобное заимствование могло бы оказаться принципиально неправомерным только в одном случае: если систематика сама в чем-то способна подняться до уровня философии. Тогда внутренняя логика научной мысли, возможно, вступила бы в противоречие с навязанными ей извне нормами. Надо согласиться с советским философом в том, что адекватная концепция истины не должна быть “произвольной философской интерпретацией науки”. Она должна “соответствовать природе науки и отвечать устремлениям самих ученых” (Чудинов, 1977, с. 55), – конечно, если эти устремления достаточно высоки. Вообще говоря, примеры, когда уровень мировоззренческой рефлексии реально достигается за пределами собственной философии, привести нетрудно. Известно, что классической художественной литературе удавалось формулировать поистине метафизиче-

ские проблемы чисто литературными средствами, не прибегая к философскому дискурсу. Нельзя ли в повседневной работе биолога-систематика найти некоторую философскую глубину, как в романах Достоевского?

Способ такого поиска достаточно очевиден. Поэтому нетрудно установить необходимые условия для логически точной формулировки определения и критериев истины. Затем следует посмотреть, имеются ли эти условия в таксономической практике или в таксономических текстах. Наконец, важно выяснить, в какой мере проблема истины осознается самими таксономистами и оказывает ли она влияние на выбор целей, разработку методов систематики и теоретическое осмысление оснований этой науки.

ИСТИНА И ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ

Говоря о соответствии знания предмету, мы не обязательно имеем в виду то, что сведения о некотором объекте могут оказаться ложными. Если мы ставим перед собой задачу рациональной организации, упорядочивания самих этих сведений, то они и становятся предметом, наше знание о котором должно соответствовать его собственной природе. При этом “собственная природа” может пониматься различно, в соответствии с конкретной целью упорядочивания. Существуют определения систематики, полностью сводящие эту науку к упорядочиванию сведений. Так, В.Н. Беклемишев целью систематики считал “наиболее краткое и полное описание данной группы объектов в порядке их сходств и различий” (Беклемишев, 1994, с. 26). Набор сведений о сходствах и различиях служит для идентификации объектов,

это инструмент для выполнения определенной функции. В свою очередь краткость и полнота – это характеристики нашего знания сходств и различий, соответствующего данной функции. Предметом здесь оказывается не “группа объектов”, как можно было бы подумать сначала, а набор сведений. Сходства и различия рассматриваются как данность, а не как результат исследования; задача систематики заключается всего лишь в следовании их(порядку. Другой пример: автор, сутью систематики считающий классифицирование, одновременно утверждает, что классифицирование “имеет дело не с вещами (здесь уместнее говорить о сортировке, идентификации), а с понятиями о вещах” (Павлинов, 1996, с. 7).

Таким образом, проблема истинности знания или, если мы продолжаем использовать классическое определение истины, вопрос о соответствии знания предмету, в применении к систематике оказывается шире вопроса о достоверности сведений – верность или неверность сведений, рациональная или нерациональная организация набора сведений – открывает простор для разнообразных и детальных исследований. Однако нас будет интересовать самый общий аспект этих проблем, в котором они не различаются. Дело в том, что собственно *наше* отношение к изучаемому в обоих случаях не принимается во внимание. Изучая “предмет”, “знание”, даже “процесс познания” как таковой, мы неизбежно упускаем из вида то, *чем* мы их изучаем, т.е. знания, еще не заключенное в кавычки. В результате оказывается невозможным говорить и об истине, по крайней мере о ее существенной части. Говоря о “нашем отношении к изучаемому”, я имею в виду не мое частное, индивидуальное и неповторимое отношение к вещи, в человеческий, сознательный способ отношения к миру вообще. Переход от вещей к сведениям не приближает нас к овладению этим отношением. Очевидно, что необходимой предпосылкой для постановки задачи упорядочивания сведений является представление о знании как о некоторой сфере, “концептуальной области”. Но любая “область” неизбежно становится предметом изучения и оперирования, т.е. опять же предметом знания. Таким образом, этот переход представляет собой всего лишь первый шаг бесконечной последовательности: “Знаю, что знаю, что знаю...”.

Подобная последовательность не является только мысленным экспериментом: в какой-то мере она реализуется в науке. Можно наблюдать, как концептуальная область превращается в предметную, ей в соответствии ставится новая концептуальная область, в свою очередь становящаяся предметной, и т.д. Пример этому дает соотношение дисциплин, входящих в состав систематики. В *диагностике*, занимающейся фиксацией

и отбором признаков, предметная область – это совокупность объектов, подлежащих определению (идентификации), а концептуальная область представлена прежде всего упорядоченными наборами признаков таксонов. В *таксономии* же, которая сосредоточена на классификации и опирается на заранее данный набор признаков, не принимая во внимание то, как он был получен, предметной областью является гипотетическое многомерное пространство признаков. Таким образом, набор признаков, который в диагностике относится к сфере знания, в таксономии оказывается частью предметной сферы.

Концептуальная область таксономии, как очевидно, должна включать в себя различные иерархии таксонов (которые в научной практике называются *системами*), таксономические акты и суждения о таксономическом значении различных признаков. Можно отвлечься от конкретного содержания таксономических актов и рассматривать их как некоторую данность, задавшись вопросом об общих правилах и нормах их выполнения. Тогда они, в таксономии бывшие частью сферы знания, становятся предметом *номенклатуры*, в соответствии которому ставятся эти общие правила и нормы. В рамках каждой их упомянутых дисциплин имеют место особые представления о “собственной природе” своего предмета и вырабатываются свои критерии истинности, которые могут быть разными в пределах разных научных школ. Так, многомерное пространство признаков в таксономии будет определяться по-разному, в зависимости от того, что считается важнейшим в организации признаков: эволюционная последовательность, удобство извлечения информации, степень уникальности признака и т.д.

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА ОБ ИСТИНЕ

Исследуем общие условия постановки вопроса об истине. Понятно, что для выяснения отношения между знанием и предметом мы должны различать обе стороны этого отношения. Однако, выполняя это различие и объективируя “знание” и “предмет”, мы обнаруживаем, что в результате только воспроизвели исходную проблему, а не приблизились к ее явной и строгой постановке. “Знание” оказывается всего лишь новым предметом, относительно которого можно снова задаваться вопросом о том, истинно ли знание о нем. Поэтому, намереваясь изучить отношение знания и предмета, мы фактически вместо этого рассматриваем всего лишь отношение двух предметных областей, одну из которых называем при этом “концептуальной областью”. Знание же “без кавычек”, т.е. еще не превращенное в концептуальную область и остающееся неявным, необъективированным, в явной форме постановлено в соответствии предмету.

Этот парадокс представляется неразрешимым, но не возникает ли он на самом деле лишь из-за неправильного способа постановки вопроса об истине? В самом деле, обратим внимание на то, что именно мы считаем проблематичным, когда спрашиваем о том, истинно ли знание о чем-либо. Очевидно, что неясность, недостоверность, присущую знанию, мы приписываем его содержанию. Проблему, как нам кажется, составляет то, таков ли предмет знания, каким мы его знаем. Содержательная определенность, выраженная набором признаков данного класса или набором свойств данного объекта, может быть той или иной; поэтому неудивительно, что именно она представляется проблематичной. В результате вместо отношения знания и предмета мы и начинаем рассматривать соотношение разных предметов и даже целых предметных областей. Например, я могу усомниться в том, что у жука, которого я пытаюсь определить, действительно красная переднеспинка. Может быть, она на самом деле коричневая, и мне только кажется красной из-за неудачного освещения? Или ее следует скорее назвать не красной с черным рисунком, а черной с красным?

Сомневаясь и пытаюсь далее разрешить свои сомнения, я в этом случае сопоставляю две разные предметные области. С одной стороны, это предметная область непосредственного наблюдения, где я отмечаю такие характеристики, как цвет и форма. С другой стороны, это предметная область *цветоведения*, дисциплины, исследующей, каким образом одно и то же пятно окраски может казаться разным по цвету в зависимости от окружающего фона и освещенности. Диагностика и – разные дисциплины, с разными предметами: у первой это экземпляры, у второй цветковые пятна. Но исходя из данных цветоведения, мы можем подвергнуть критике результаты диагностики. Мне “кажется”, что переднеспинка у моего экземпляра другого цвета, чем тот, что указан в описании, но “на самом деле” цвет тот же, просто автор описания работал при естественном освещении, а я работаю при электрическом. “Неправильное” заключение (“переднеспинка красная”) заменяется на “правильное” (“переднеспинка коричневая”). Но ведь существо проблемы этим не затрагивается. Да, я приписывал объекту неправильную окраску а теперь приписываю правильную. Однако имею ли я право вообще что-то чему приписывать? Где основания для такого права? Если их нет, то и “правильное”, и “неправильное” заключение одинаково бессмысленно. Иначе говоря, любые соображения о возможных обманах зрения не имеют отношения к *метафизическому* вопросу об истине.

Прежде чем говорить о правильном или неправильном приписывании признаков объекту или классу, следовало бы ответить на более об-

щий вопрос: каково отношение знания и предмета и что такое их “соответствие”. Ясно, что если мы задаемся таким вопросом, сосредоточиваясь на отношении к предмету как таковому, то многообразии предметной области (самой ли по себе или в связи с различием точек зрения, с возможностью многих наблюдателей) не имеет значения, и необходимо говорить об элементарном классификационном акте или акте восприятия и едином, несоставном предмете. Общий характер ситуации состоит в том, что мы вступаем в отношение к некоторому содержанию, структурной, эмпирической определенности. Если мы при этом схватываем форму единичного предмета – имеет место восприятие в узком смысле слова, если мы схватываем общий признак ряда объектов – налицо элементарный классификационный акт.

Может показаться, что в этом аспекте возможны две альтернативные точки зрения. Мы можем признать содержательную определенность таксона, его *интенционал* чем-то целостным, неразложимым и схватываемым в одном акте интуиции либо считать, что она распадается на элементарные составляющие. Однако второй способ рассмотрения оказывается несостоятельным. Дело в том, что любое элементарное качество – это фикция. “Простое” ощущение, допустим, цвета не является чем-то безотносительным: оно всегда связано с пространственными характеристиками и в значительной степени определяется ими. “Атомов” чувства не существует: “Вот это красное пятно, которое я вижу на ковре, является красным лишь с учетом пересекающей его тени, его качество проявляется лишь в отношениях с игрой света, то есть как элемент пространственной конфигурации. К тому же цвет определяется только тогда, когда он существует на определенной поверхности, слишком малая поверхность остается неопределимой” (Мерло-Понти, 1999, с. 27). Взаимность в определении содержательных моментов приводит к невозможности выделения простых ощущений. Любой момент содержания – цвет, тень, поверхность – оказывается сложным не столько из-за своей составленности из более мелких частей, сколько из-за многообразных связей с другими моментами.

Что касается интуитивного схватывания целостного образа, то этот способ неудачен своей безотчетностью. Интуиция предполагает, что наше отношение к предмету нами совершенно игнорируется. Схватывать интуитивно – значит схватывать неизвестно как. Собственно говоря, потому, видимо, и возникает иллюзия целостности схватываемого образа. Мы просто упускаем из вида свою способность различать в нем отдельные моменты. Процесс различения происходит, не замечаясь нами, поэтому и его результат (различие) не осознается, остается на уровне бессознательных психических функций. Если это и не означает

полного забвения себя и погружения в предмет, то по крайней мере постановка темы об отношении знания и предмета (т.е. вопрос об истине), становится невозможной.

Но и есть и другой способ, которым реально достигаются элементарность акта восприятия и несоставной характер предмета. Он заключается в абстрагировании от всех собственно содержательных различий и отношений в том, что мы (не совсем адекватно) называем “содержательной определенностью”. На этом уровне абстракции несущественно, в частности, различие между “действительно воспринимаемым” и “только вообразаемым” предметом: и то, и другое суть предмету, они – нечто, обладающее формой. Впрочем, различие действительности и воображения станет важным уже на следующем этапе.

“Внутри” такого элементарного акта содержательная определенность не может быть “той или иной”. Между тем наше отношение к предмету и здесь остается для нас неявным, а потому актуальность вопроса об истине сохраняется. Дело в том, что, не выходя за пределы единичного восприятия, невозможно провести различие между самим предметом и его образом. Если использовать пример, приведенный Хайдеггером, то некто, представляющий себе картину, висящую на стене у него за спиной, отнесен не к “образу” и не к “представлениям” о картине, а к ней самой (Хайдеггер, 1997, с. 217). В единичном опыте восприятия имеется только одна нерасчленимая содержательная определенность. Сопоставление “самого” предмета и его “образа” в нашем восприятии” возможно с некоторой внешней позиции, позиции теоретизирования по поводу восприятия, но оно не является моментом реального опыта восприятия. Последнее положение не нужно доказывать: поскольку само понятие *опыта* предполагает, что он совершается сознательно, свидетельство субъекта о нем является не внешним описанием, а *результатом* опыта и потому не может быть подвергнуто сомнению в содержательном аспекте. Если мне кажется, что я вижу стол, то нелепо было бы при этом думать, будто “на самом деле” мне кажется, что я вижу слона. Но если содержательная определенность одна, то остается абсолютно неясным, следует ли считать ее принадлежностью предмета или продуктом акта восприятия. Напрашивающееся предположение о том, что определенность, видимо, в какой-то мере принадлежит одному и в какой-то мере – другому, невозможно, поскольку она нерасчленима.

Таким образом, мы видим, что “содержательный” подход к проблеме истины, сводящий ее к согласованию разных предметных сфер, не является единственно возможным. Есть также и “формальный” способ постановки вопроса об истине, когда мы спрашиваем о том, является ли на-

личная в опыте восприятия определенность реальным свойством предмета или всего лишь воображением. Отчетливо противопоставляет содержательный и формальный подходы к истине, например, Хайдеггер. В противовес представлениям об истине как согласованности одного содержания с другим (познания и предмета, психического и физического, содержаний сознания друг с другом), он определяет ее как “раскрытость самого сущего” (Хайдеггер, 1997, с. 218). Раскрытость и потаенность – два способа бытия *одного и того же* содержания. Можно еще вспомнить иронию Гегеля по поводу точки зрения, противопоставляющей знание и предмет: это воззрение фактически предполагает, что “познавание, обретаясь вне абсолютного (т.е. объективно существующего предмета. – А.С.) и, следовательно, также вне истины, тем не менее истинно” (Гегель, 1992, с. 42). Приведенный Гегелем парадокс – одно из следствий содержательного подхода к истине. Если знание и предмет представлены как находящиеся “вне” друг друга, они тем самым рассматриваются в качестве двух различающихся вещей. Но различие знания и предмета означает ложность знания. Говорить об истине оказывается невозможным по существу.

Исторически формальный подход к истине берет начало в философии Декарта. Предложенный им принцип сомнения исключает всякую возможность проверки и коррекции данных восприятия за счет любой другой содержательной определенности, поскольку подверженными сомнению оказываются даже математические аксиомы: “Между тем в моем уме издавна прочно укоренилось мнение, что Бог существует, что он всемогущ и что он создал меня таким, каков я есть. Но откуда я знаю, не устроил ли он все так, что вообще не существует ни земли, ни неба, никакой протяженности, формы, величины и никакого места, но тем не менее все это существует в моем представлении таким, каким оно мне сейчас видится?” (Декарт, 1994, с. 18). Но это не значит, что вопрос об истине снимается. Неизвестно, воспринимаем мы вообще что-либо или только фантазируем, но несомненно, что мы отличаем способность восприятия от фантазии (ведь в том и состоит сомнение: неясно, является наше знание результатом восприятия или только фантазией). Следовательно, основание для различения истины и лжи существует, и этим основанием является наша способность сомневаться в своем знании.

Именно с содержательным подходом к проблеме истины связано распространенное понимание сути систематики как классифицирования. В самом деле: классифицирование – это деятельность, продуктом которой считается содержательная определенность классов, имеющая форму знания. Результат классифицирования – *система*, т.е. некоторое организованное знание о

разнообразии живого. Но система немислима в качестве простой, элементарной: это знание всего о некоторой множественности, о разнообразии, и она не может состоять из одного класса. В связи с этим система может быть той или иной; задача систематика состоит в том, чтобы из неопределенного множества возможным систем выбрать одну, истинную или, как принято выражаться в теоретической систематике, *естественную*. Неважно, как именно понимается нами естественность – как соответствие эволюционной истории, или максимальная информативность, или операциональность и т.д. В любом случае стремление к истинности осуществляется путем выбора из ряда содержаний. Но такой выбор требует критерия, также имеющего содержательный характер. С формальной точки зрения все возможные системы одинаковы (это выражается, например, тем, что их совокупность можно представить как множество) и выбор между ними лишен основания. Поэтому множество возможных систем, образующее одну предметную область, сопоставляется с другой – со сферой предполагаемой эволюционной истории или же со сферой обработки и хранения информации.

Однако сама практика работы систематика свидетельствует о том, что он не может быть определен как классификатор. Систематик имеет право и воздержаться от классифицирования, например, помечая некоторый материал как *incerto sedis*, и, тем не менее, делая это, он продолжает считаться систематиком, тем, кто выполняет собственно систематическую работу. Формально можно и это считать классифицированием, но понятно, что к классифицированию как роду занятий, профессиональной деятельности откладывание материала в сторону отношения не имеет. Работа классификатора имеет, очевидно, более специальное содержание, чем вообще “распределение” или “упорядочивание”. Таким образом, суть систематики заключается не в классифицировании, а потому она необязательно привязана и к содержательной трактовке истины. Безусловно, постановка вопроса об истине в его предельной глубине и точности, когда сама эта постановка оказывается проблематичной, свойственна философии, а не систематике. Однако, как показывает нижеследующий анализ, формальное понимание истины действительно присутствует в практической работе систематика, хотя и не находит теоретического выражения.

СОСТАВЛЕНИЕ ДИАГНОЗА КАК “МОМЕНТ ИСТИНЫ” В РАБОТЕ СИСТЕМАТИКА

Определение систематики как науки о *разнообразии*, казалось бы, исключает всякую возможность сосредоточения ученого на своем отноше-

нии к предмету, исключает опыт сознания, имеющего дело с простым, единичным содержанием. Кажется, что сама суть систематики состоит в сравнении, в движении мысли исключительно в пределах предметной области. Кроме того, систематика определяется в качестве описательной науки. Но попытка явного различения знания и предмета в ситуации, когда перед нами текст, являющийся *только* описанием конкретного материала, неосуществима: поскольку содержание одно, различие оказывается бессодержательным, пустым. Любая фраза из описания, допустим: “Переднеспинка красная”, – не дает возможности распределить содержание между знанием и предметом. С одной стороны, она должна отражать свойство данного экземпляра, с другой – она представляет некий элемент нашего знания. Но то и другое имеет одно и то же содержание: “красная переднеспинка”. Ясно, что различие должно быть, но совершенно невозможно сказать, в чем оно состоит.

Следуя традиционному, берущему начало в схоластике, различению понятий сущности и существования, можно было бы приписать всю наличную содержательную определенность (приравняв ее к “сущности”) знанию, оставив предмету определенность бытия (существование). Но “бытие”, в силу своей предельной абстрактности, не выражает ничего нового сверх того, что уже было сказано, – что различие между знанием и предметом пусто в содержательном аспекте. Следует также помнить, что речь идет о специфическом внутреннем опыте элементарного классификационного акта. Выйдя за его пределы, ничего не стоит сказать о том, что существует очевидное различие между конкретным образом моего восприятия, где красный цвет переднеспинки изучаемого экземпляра характеризуется неповторимым множеством особенностей тона и оттенков, и абстрактным смыслом слова “красный”, которым я пользуюсь для описания. Первое – это якобы и есть предмет как таковой, а второе – соответствующее ему знание. Но мы при этом совмещаем две, разные ситуации: созерцание и написание (или чтение) текста. В работе с текстом предмет – это понятие “красное”. Предмет созерцания – пятно неповторимого оттенка красного цвета в уникальных условиях освещения, фона и протяженности. Называя понятие красного знанием, мы берем предмет из одной ситуации (работа с текстом) и помещаем в другую (созерцание), непонятно на каких основаниях сопоставляя его в качестве знания тому, что в этой ситуации является предметом (конкретное красное пятно). Как работа с текстом, так и созерцание в принципе может быть своеобразным опытом поиска истины, однако мы редуцируем их к одному лишь содержательному аспекту. Проблема отношения

знания и предмета подменяется сопоставлением двух разных предметных областей.

Тем не менее в работе систематика есть и такой момент, когда он осознает различие знания и предмета именно на основе единого содержания. Этот момент – составление диагноза. Что есть диагноз? Это текст, служащий инструкцией для последующих идентификаций. Соответственно объект, к которому должен отсылать этот текст, – некое подразумеваемое множество еще не изученных экземпляров данного таксона. Предмет диагноза задается нашей нацеленностью на будущие акты определения. Будь диагноз *только* инструкцией, ситуация не отличалась бы принципиально от описания конкретного материала. Мы точно так же встали бы перед невозможностью выяснить, что такое “красная переднеспинка”, о которой мы пишем: абстрактная смысловая конструкция, используемая в процессе работы с текстом, созерцаемый нами мысленный образ, являющийся продуктом воображения, или реальная характеристика данного вида, свойство особей, где-то “в природе” ожидающих своего превращения в коллекционные экземпляры, а также свойство экземпляров, где-то в недрах коллекционного ящика ожидающих своего изучения. Но дело в том, что диагноз таксона, являясь инструкцией, пособием для определения, в практической работе систематика все же составляется посредством описания уже определенных экземпляров. Таким образом, неясно, с чем мы вообще имеем дело, составляя диагноз: с уже изученными экземплярами или с еще не изученными.

Является ли рассмотрение такой ситуации теоретически правомерным? Можно ли здесь вообще говорить о *ситуации* как таковой, об определенном опыте сознания, или, говоря о процедуре составления диагноза, мы механически совместили две операции: составление описания и применение уже готового описания в качестве пособия для определения? Описание, например, можно переосмыслить в качестве гипотезы, а его дальнейшее применение – в качестве проверки этой гипотезы. Первоначальное отношение к предмету при этом оказывается оставленным; основываясь на описании, мы строим новое отношение: наблюдение заменяем экспериментом, восприятие – оценкой. Происходит и замена предмета: вместо уже знакомого нам, определенного и изученного экземпляра берется новый, еще не определенный. Однако существует вполне действительный, жизненный опыт, в котором напряжение между такими характеристиками предмета, как “знакомый” и “незнакомый” возникает на почве единого содержания. К нему отсылает нас и данный случай, случай составления диагноза. Это опыт *узнавания*.

Единство содержания в данном случае определяется характером рассматриваемого опыта. Здесь не требуется специальных усилий по сосредоточению внимания. Разумеется, когда я узнаю, скажем, человека, которого не видел много лет, я одновременно замечаю в его облике множество новых, неожиданных деталей. Но эта “одновременность” все же выводит нас за пределы собственно узнавания и приводит в область *сравнения* наличного образа моего знакомого и его же образа, сохраненного в моей памяти. Узнавание как таковое ограничивается заключением, что передо мной “он же”, тот, кого я помню. Я устанавливаю, что знание, хранившееся в моей памяти, должно быть приписано тому, что я в данный момент вижу. При этом “объем” знания, его конкретное содержание не имеет значения для определения самой формы ситуации: узнавание будет чем-то “тем же самым” независимо от того, благодаря каким признакам или какому признаку оно смогло состояться. Точно так же не имеет отношения к делу соображение о том, что прежде чем узнать своего знакомого, я должен распознать его, как минимум, в качестве человека (а потому будто бы говорить о единстве содержания, его элементарном характере здесь невозможно: содержание имеет сложную иерархическую структуру – мой знакомый есть также человек и т.д.). Это замечание просто выводит нас за пределы данного акта узнавания и приводит к другому, в котором я идентифицирую движущееся цветное пятно как человека.

Так происходит и узнавание знакомой вещи, и идентификации нового экземпляра уже известного вида, и даже, возможно, определение экземпляра до сих пор незнакомого вида с использованием диагноза. Последние два случая терминологически более правильно было бы назвать распознаванием, а не узнаванием. Однако для целей проводимого в статье анализа эта разница несущественна. И в том, и в другом, и в третьем случае есть некоторые умозрительные данные, которые в процессе работы должны быть поставлены в соответствие некоторой вещи. В первом случае результат сопоставления – констатация, что перед ними “та же вещь”, а во втором и третьем – “вещь того же вида”. Второй случай отличается от третьего организацией умозрительных данных, которые имеют тенденцию составлять целостный образ, а не просто набор признаков. Различие, может быть, существенное для психологии, но не для философии. Поэтому можно пользоваться термином “узнавание” как общим понятием для узнавания в узком смысле и идентификации любого сорта.

Несмотря на свою “жизненность” – ведь узнавание не является разновидностью теоретизирования, размышления о чем-либо, – оно имеет более сложную структуру или осуществляется на

более высоком уровне сознания, чем, например, созерцание. Следует подчеркнуть, что здесь идет речь об узнавании как акте сознания, своего рода логической операции, а не об автоматической реакции на знакомый образ. Собака тоже узнает своего хозяина. Подобные рефлексy, разумеется, должны иметь место и у человека. Однако я имею в виду метафизический, а не психологический аспект узнавания. Узнав хозяина, собака виляет хвостом и прыгает, но не заключает: “Это он”. Итак, *узнать*, в нашем понимании, – значит констатировать совпадение знания и предмета. Но если я констатирую совпадение знания и предмета, это значит, что я каким-то образом отличил одно от другого. То, совпадение чего констатируется, сначала, разумеется, должно быть отличено от того, с чем оно совпадает, иначе не будет основания говорить о “совпадении”. Значит, внутри ситуации узнавания происходит то, чего не удается достичь путем теоретизирования по поводу созерцания, – различие и последующее сопоставление знания и предмета, причем на почве единого содержания, без объективирования знания и превращения его в новый предмет.

Обратим, однако, внимание на то, что итог узнавания полностью сводит на нет это кажущееся достижение. Ведь различие между знанием и предметом в результате узнавания теряется. Когда предмет узнан, содержание полностью приписывается ему и теряет форму знания: все содержательные определенности оказываются исключительно свойствами предмета. Кроме того, и в самом процессе узнавания различие и констатация оказываются неявными: я не могу отдать себе отчет в том, что “различаю” и “констатирую”. В процессе узнавания его механизм для нас скрыт; пытаемся узнать и определить предмет, мы направлены на предмет, а не на наше отношение с ним. Поэтому к узнаванию можно обратить ту критику, которой выше была подвергнута интуиция: ни то, ни другое не позволяет ставить вопрос об истине.

Однако все это имеет отношение прежде всего к пользователю диагноза. Иначе обстоит дело, когда мы еще только составляем диагноз, инструкцию для последующих идентификаций. Чем же является такая инструкция, как не явно выраженным механизмом узнавания? Причем узнавания в узком смысле, так как автор диагноза пользуется для его составления, конечно, знакомым ему материалом. Безусловно, этот механизм не является “естественным”. Если изучить психологию процесса узнавания или процесса классификации, происходящего без использования специальных систематических текстов, вероятно, выявленный алгоритм будет мало похож на определительный ключ. Построение такого механизма не имеет отношения и к философскому анализу узнавания (восприятия). Ведь редукция “цело-

стного” восприятия к ряду последовательных шагов, представленных предложениями описательного текста (или его моделирование путем установления искусственной серии этапов, как в случае определительного ключа), не изменяет формы происходящего: каждый такой шаг есть также некоторое восприятие. Следовательно, эта редукция не объясняет восприятия как такового. Если даже допустить, что “атомы” восприятия существуют, что, например, восприятие красного цвета есть нечто в принципе далее не делимое, в случае каждого такого элементарного восприятия сохраняются все ранее рассмотренные проблемы неразрешимости отношения знания и предмета.

Но важен не искусственный характер структуры диагноза, а сам факт того, что, составляя диагноз, мы узнаванию предпосылаем некоторую инструкцию. Фиксируя признак “красная передспинка”, полученный при изучении известного материала, мы направлены не на этот изученный материал, а на предстоящие акты узнавания. Значение того, что диагноз основывается на изученном материале, заключается только в осознании наличной содержательной определенности как данности: набор признаков не выдуман, не сконструирован нами, а именно *получен* в процессе восприятия. Можно сказать, что составление диагностического текста сопровождается его толкованием: в той мере, в какой диагноз составляется как алгоритм восприятия, он выражает собой осознание события узнавания вместе со всей его сложной логической структурой (различие и сопоставление знания и предмета), которая ускользает от нас при идентификации нового экземпляра, когда мы погружены в само узнавание.

Фиксация логической структуры узнавания при составлении диагноза происходит следующим образом. Ясно, что, поскольку мы предпосылаем узнаванию инструкцию, постольку мы создаем узнавание как деятельность. Ведь инструкция может быть предослана только действию, причем сознательному. Но все, что “делает” узнавание – это констатация тождества двух различных моментов восприятия – знания и предмета. Такая обращенность сознания на себя (на себя, потому что знание, совпадение которого с предметом констатируется, составляет сущность сознания) называется *рефлексией* (значение и место этой категории в истории западной философии рассмотрено в статье Лобковиц, 1995). Определяя новый экземпляр, пользователь диагноза только осуществляет рефлексию, сам того не понимая. Поскольку он не сознает, что занят различением знания и предмета (сам он понимает только, что пытается определить данный экземпляр), постольку его обращенность на себя для него самого остается неявной. Но систематик, составляющий диагноз, безусловно сознает рефлексию в ка-

честве рефлексии. Раз он относится к узнаванию как к деятельности – значит, фактически признает, что отличие знания от предмета может активно, сознательно проводиться самим знающим. Причем оно проводится не только каким-то другим знающим (пользователем диагноза), но им самим: ведь он, составляя диагноз, пользуется материалом, который сам прежде должен был узнать. Парадоксальным образом и это признание оказывается неявным! Ведь составитель диагноза, так же как и пользователь, не делает различие знания и предмета специальной темой своего рассмотрения. В этом смысле выше и говорилось о том, что стремление к истине в систематике существует, но не находит своего теоретического выражения.

Толкование диагноза как алгоритма восприятия не является единственно возможным. Его можно также понимать как описание конкретного материала или как характеристику вида. В этом случае работа по составлению диагноза утрачивает свой глубокий философский смысл. Отметим, впрочем, что даже само слово “диагноз” прежде всего отсылает нас к диагностике, к процедуре определения. Таким образом, значимость рассмотренного толкования, его укорененность в повседневной практике систематика (помимо свидетельства об этом самого автора данной статьи, который также является профессиональным систематиком) получает подтверждение и со стороны используемой в этой практике терминологии.

Выражение “алгоритм восприятия”, так же как и “механизм узнавания”, не вполне точно. Может показаться, что ему может соответствовать только сложная, составная структура – определительный ключ или последовательность предложений описательного текста. Действительно, ведь даже один шаг любого алгоритма предполагает некоторое содержательное преобразование, отличие входа от выхода. Но в своей основе механизм и алгоритм – это способы опосредования некоторого действия, причем они являются наиболее характерными примерами такого опосредования, поэтому использование этих терминов в наших целях до некоторой степени оправдано. В нашем случае процедура узнавания опосредуется диагностическим текстом, как всем текстом в совокупности, так и любой его частью. Предложение “Переднеспинка красная” не выражает собой какой-либо последовательности сознательных шагов, приводящих к восприятию красного цвета (вроде правил перехода улицы: “Посмотрите налево, затем посмотрите направо”). Тем не менее, оно связывает между собой два акта восприятия: эталонного экземпляра и экземпляра, подлежащего определению, устанавливая их содержательное тождество (в рамках рассматриваемого признака) и фиксируя единственно наличное в ак-

те восприятия различие – между формой и содержанием, или знанием и предметом. Это различие только и делает возможным обоснованное рассмотрение *двух* актов и *двух* экземпляров, противопоставляя их как эталон и определяемое.

СТРЕМЛЕНИЕ К ИСТИНЕ КАК ИСТОЧНИК ТАКСОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Заинтересовавшись в истинности знания, таким образом, в систематике может конкретизироваться в качестве стремления к практическим применимому описанию. Истинно то описание, которое позволяет узнать описанное. Это, казалось бы, очевидное и не требующее обоснования положение в свете выполненного в предыдущем разделе анализа приобретает довольно нетривиальный смысл. Следует помнить, что суть дела заключается не в сопоставлении “самого” предмета восприятия (того, что описывается) и искусственной схемы (описания), которая на него накладывается. В подобном случае истинным оказалось бы содержание, выраженная описанием содержательная определенность, благодаря тому, что оно было бы “тем, а не другим”, а именно тем, которое совпадает с определенностью “объекта” или его “образа”. На самом же деле истинность описания заключается в том, что его возможно сопоставить акту узнавания в качестве объяснения или обоснования последнего. Оно истинно в той мере, в какой превращает данность “красной переднеспинки” в способ деятельности, в метод диагностики. Именно в этом аспекте достигаемое практически, в акте узнавания, совпадение знания и предмета получает статус действительного, стабильного результата, который можно назвать *истинной*.

Важно то, что узнавание ничем не гарантировано. В биологической систематике (и в этом ее специфика) всегда ожидается несоответствие между описанием и определяемым объектом. Систематика принципиально открыта по отношению к новым результатам. Истина, таким образом, в этой науке всегда осознается как недостижимая. Перед систематикой, работающей над определением нового материала, всегда стоит дилемма: узнавать или не узнавать, признать, что материал относится к одному из известных видов, к новому для науки виду или же что пока нет оснований вообще ни для какого определенного заключения о его систематической принадлежности. В принципе любой сколь угодно бедной классификации было бы достаточно для окончательного определения всего, чего угодно. Но в систематике существует традиция описания новых видов, так же как и традиция воздержания от суждения о таксономической принадлежности материала в сложных случаях (материал тогда помечается как *incerto sedis*). Это свидетельствует о свободе систе-

матика, делает более явным наличие дистанции между ним и процессом узнавания.

Четкая выраженность этой дистанции делает проблему истины более открытой и для самого ученого. Неявное признание рефлексивной природы узнавания, о котором шла речь в предыдущем разделе, заостряется до активной критики узнавания. Поводом для нее, как это ни странно, оказывается вполне адекватное, успешно работающее описание. Ведь описание в целом, как уже было замечено, представляется нам сложной, составной, жестко определенной структурой. Оно даже и строиться можем с помощью искусственного алгоритма, например с использованием дискриминантного анализа. Абстрагироваться от этой сложности и рассматривать диагноз в качестве простого элемента в рефлексивной структуре сознания достаточно трудно. Выступая в практике работы систематика как инструкция для узнавания, как диагноз заставляет перенести свою очевидную сложность и на само узнавание. Нам кажется естественным рассматривать узнавание в виде такого же сложного алгоритмического процесса, как если бы реальное восприятие происходило поэтапно, в соответствии со строением описательной фразы: сначала воспринимается геометрическая фигура, отождествляемая с передне спинкой, затем оценивается ее окраска, которая определяется как красная, и т.д. В результате диагноз теряет значение формы, определяющего момента узнавания, и сводится к набору содержательных деталей (очертания, окраска и пр.). Но содержание, лишенное формы, есть нечто случайное. Любой возможный порядок в его организации оказывается произвольным. В связи с этим неизбежно возникает вопрос о том, почему, например, фигура важнее окраски. Не классифицировать ли сначала по цвету передне спинки, а потом уже по ее форме? Или: почему разница в цвете передне спинки рассматривается в данном случае как видовое отличие, а не случайная вариация?

Имея свой источник в диагностике, это вопрошание, таким образом, обращено к области таксономии. И обозначается проблема, которая ставится этим вопрошанием, прежде всего как таксономическая неадекватность классифицирования, опирающегося на внешние, т.е. непосредственно воспринимаемые, признаки. Это и есть критика узнавания. Несмотря на ошибочную, по сути дела, формулировку, постановка таких вопросов сама по себе выражает беспокойство об утраченной форме и должна считаться свидетельством стремления к истине. Возможно практически полное сосредоточение таксономической работы в направлении поиска и постановки этих вопросов. В таком случае особое значение приобретают исключения из правил, промежуточные формы, абберрации, внутривидовая изменчивость. Их наличие, точнее, их включенность в сферу де-

ятельности систематика, спасает от очевидно бесплодного сознания произвольности любой системы. Другим способом избежать этого сознания является поиск внешних содержательных критериев (соответствие эволюционной истории и пр.) истинности системы, о которых говорилось выше.

НАПРАВЛЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМАТИКИ В ИХ ОТНОШЕНИИ К ПРОБЛЕМЕ ИСТИНЫ

Как уже было сказано, стремление к истине не находит в систематике теоретического выражения. Однако оно способно определять судьбу различных концепций, претендующих именно на теоретическое обоснование систематики. Кажется естественным, чтобы стремление к истине, хотя и не выраженное эксплицитно, порождало такое же не обоснованное в явной форме, но вполне сознательное отталкивание ученого от тех направлений, которые стремятся так или иначе снять сам вопрос об истине, свести его к чисто содержательным отношениям. К таким направлениям относится прежде всего ряд теорий, которые можно охарактеризовать как *эмпиризм* (численная фенетика, паттерн-кладизм). Они отрицают саму возможность постановки вопроса об истине на том основании, что содержательного различия между знанием и предметом не существует: “У нас есть только признаки”. Другую группу теорий образуют взгляды, согласно которым знание может содержательно отличаться от предмета, оставаясь при этом знанием: система “отражает” положение вещей, имеющее место “в природе”. Такую точку зрения можно назвать *материалистической*. К этой группе относятся эволюционная систематика и креационизм.

Между тем существует и положительная альтернатива подобным взглядам. Более того, она представлена в истории биологической систематики весьма авторитетным именем. Я имею в виду Аристотеля. Аристотель часто давал определения различным философским категориям, опираясь на наблюдения за употреблением соответствующих слов в обычном языке (Лобковиц, 1995). Такова специфика его метода. Допустим, строя определение сущности, он говорит не о том, что есть сущность, а о том в каких случаях мы пользуемся словом “сущность”. Эта особенность очень четко проявляется, например, на протяжении всей пятой книги “Метафизики” (Аристотель, 1975). В таком смысле следует понимать и деление живых существ на растения, животных и человека во второй главе второй книги трактата “О душе”. Эта классификация вводится следующей фразой: “Но о жизни в разных значениях, мы утверждаем, что нечто живет и тогда, когда у него наличествует хотя бы один из следующих при-

знаков: ум, ощущение, движение и покой в пространстве, а также движение в смысле питания, упадка и роста” (Аристотель, 1975, с. 396). Как мы видим, речь идет о том, каким образом мы говорим и утверждаем, а не о том, как природа подразделяется на объективно существующие части.

Под этим углом зрения надо посмотреть и на специально-таксономические “Историю животных” и “О частях животных”. Удивительная простота изложения и конкретность материала (прежде всего в первом из названных трактатов) мешают разглядеть философскую устремленность автора. Обратим, однако, внимание на то, что Аристотель в отличие от любого современного систематика никогда не описывал новые виды. Не занимался он и классификацией в современном смысле этого слова, т.е. выделением новых родов, изменением границ существующих таксонов и т.д. Упоминание в “Истории животных” “безымянных” видов (например, во фрагментах IV 17 и V 108) и “не имеющих общего имени” групп видов (I 35 и IV 68) никогда не служит поводом для того, чтобы дать такое имя (Аристотель, 1996). Аристотель только приводил различные сведения об известных видах и пытался дать рациональные диагнозы тем классам, которые признаны самим греческим языком, имеют на нем названия (как, например, растения и животные).

Можно несколько ослабить акцент, стоящий на “говорении”, на языке как таковом, и вспомнить о том, что слово, вообще говоря, служит выражением мысли. Тогда вопрос, который стоял перед Аристотелем, следовало бы сформулировать так: каков способ мыслимости “растения” или “животного”, т.е. какова их *форма*? Подобным образом иногда трактуют и устремления Линнея: “Разрабатывая методику описания внешнего строения растений, Линней пытался, выражаясь современным языком, выделить морфологические признаки, совпадающие с гештальт-качествами объекта (признаками его перцептивной структуры)” (Корона, 2002, с. 231). Т.е. Линней стремился к тому, чтобы описание соответствовало процессу зрительного восприятия объекта. Он хотел, чтобы его методика служила моделью, точно повторяющей формирование зрительного образа из отдельных элементарных восприятий. Если эта интерпретация справедлива, то Линней, следуя Аристотелю, заметно упрощает и ограничивает его идею. Форму в широком смысле он заменяет зрительным образом. Кроме того, как показано выше, проект создания алгоритма восприятия явно утопичен.

Ничто не мешает приложить аристотелевский вопрос о форме и к работе современного систематика. Формой таксона является его диагноз. Цель работы – найти диагноз, который позволял бы уз-

навать представителей данного таксона. Сосредоточение на сфере узнавания дает возможность систематику ощутить достоверность своих результатов и подлинно научный характер своей деятельности в гораздо большей мере, чем обращение к философски примитивным представлениям о соответствии таксономических построений “объективной реальности”. Отметим, что даже советская философия в последние десятилетия своего существования начала отходить от определения истины как соответствия идей вещам. Одна из проблем классической концепции истины состоит в следующем: “Факты, которым соответствует истинное знание..., являются элементами не объективного, а чувственно воспринятого и концептуально осмысленного мира” (Чудинов, 1977, с. 17). Это общее место, с которым вполне солидарен автор цитированной книги: «Для диалектического материализма реальный предмет знания – это не объективный мир “сам по себе”, а объективный мир, заданный через практику” (Чудинов, 1977, с. 44).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вопрос о том, как достигается истинное знание, является общеподлинной философской проблемой. Однако и повседневная работа биолога-систематика содержит в себе предпосылки для ее логически точной формулировки. Такой предпосылкой является двойственная природа диагноза таксона, который составляется на основе описания уже изученного материала, но используется в качестве инструкции по узнаванию (определению) нового материала. Эта инструкция фиксирует сложную логическую структуру акта узнавания, включающего различение и сопоставление знания и предмета на почве единого содержания.

Работая над диагнозом, систематик реализует свое стремление к истине, не обращаясь к теоретическим выкладкам. Он всего лишь пытается составить такое описание, которое позволило бы узнать описанное. Но и эта работа благодаря глубоко философскому смыслу диагностического текста имеет подлинно научный характер, полагая своей целью истину, а не просто сбор и хранение сведений.

Не имеющее теоретического выражения стремление к истине связано с такими особенностями современной биологической систематики, как ее открытость новым результатам, критичность по отношению к “внешним признакам”, интерес к внутривидовой изменчивости.

Концепции, претендующие на теоретическое обоснование систематики, должны учитывать ее собственное философское содержание. Выяснено, что с логически точным пониманием истины связана процедура составления диагноза. Поэто-

му перспективна теория систематики, полагающая сутью этой науки диагностику, а не классифицирование как реконструкцию эволюционной истории. Вариантом такой теории может считаться аристотелевская ориентация на выявление формы объекта, т.е. на то, как он мыслимо может быть представлен.

Данная работа является результатом многолетнего участия автора в семинаре по онтологической эстетике под руководством О.М. Ноговицына Санкт-Петербургский государственный технологический институт и Высшая религиозно-философская школа). За продуктивное обсуждение представленной темы автор благодарен Ю.А. Иваненко (Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра ботаники), А.А. Оскольскому (Ботанический институт РАН, Санкт-Петербург) и А.Ю. Солодовникову (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург), взявшим на себя труд чтения и критики черновых вариантов настоящей статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРА

- Аристотель*, 1975. Сочинения в 4-х т. Т. 1. М.: Мысль. 550 с.
- Аристотель*, 1996. История животных: Пер. с древнегреч. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т. 582 с.
- Беклемишев В.Н.*, 1994. Методология систематики. М.: КМК Scientific Press Ltd. 250 с.
- Гегель Г.В.Ф.*, 1992. Феноменология духа: Пер. с нем. СПб.: Наука. 444 с.
- Декарт Р.*, 1994. размышления о первой философии. Первое размышление: Пер. с лат. и фр. // Декарт Р. Сочинения в 2-х т. Т. 2. М.: Мысль. 640 с.
- Корона В.В.*, 2002. О сходстве и различиях морфологических концепций Линнея и Гете // Журн. общ. биологии. Т. 63. № 3. С. 227–235.
- Лобкович Н.*, 1995. От субстанции к рефлексии. Пути западноевропейской метафизики: Пер. с нем. // Вопр. философии. Вып. 1. С. 95–105.
- Любарский Г.Ю.*, 1996. Классификация мировоззрений и таксономические исследования // Современная систематика: методологические аспекты / Под ред. Павлинова И.Я. М.: Изд-во МГУ. С. 75–122 (Сб. Тр. Зоол. музея. МГУ. Т. 34).
- Мерло-Понти М.*, 1999. Феноменология восприятия: Пер. с фр. СПб.: Ювента, Наука. 608 с.
- Павлинов И.Я.*, 1996. Слово о современной систематике // Современная систематика: методологические аспекты / Под ред. Павлинова И.Я. М.: Изд-во МГУ. С. 7–54 (Сб. Трудов Зоол. музея МГУ. Т. 34.).
- Песенко Ю.А.*, 1992. Методологический анализ систематики. II. Филогенетические реконструкции как научные гипотезы // Теоретические аспекты зоогеографии и систематики. СПб. С. 61–155 (Труды Зоол. инта. 1991. Т. 234).
- Хайдеггер М.*, 1997. Бытие и время: Пер. с нем. М.: Ad Marginem. 452 с.
- Чудинов Э.М.*, 1977. Природа научной истины. Политиздат. 312 с.

A Problem of Truth in Biological Systematics

A. A. Stekol'nikov

Zoological Institute of EAS
199034 Saint-Petersburg, Universitetskaya nab., 1, Russia
e-mail: acari@zin.ru; http://trombicula.narod.ru

A possibility to put a question of truth of knowledge in biological systematics is studied. It is shown that the problem of truth in reference to systematics is wider than a question of classified information reliability. Prerequisites need for logically accurate formulation of a definition and criteria of truth are considered. It is shown that such prerequisites are present in taxonomic practice, namely in a process of diagnosis compolong. Philosophical analysis of this work has been carried out. Interpretation of an essence of systematics as classification is connected with use of classical concept of truth (which defines truth as correspondence between knowledge and object) in its undeveloped form. Carried analysis allows supposing that a theory of systematics based on diagnostics rather than on classification would be more prospective. Use of imperfect of truth can be seen also in notions that system of taxa must reflect its evolutionary history. Developmant and modernization of Aristotle's orientation to discovery of the object form can become an alternative to such opinions. An aspiration to achieve the truth is the main motive of systematic work. An influence of this aspiration on a selection of purposes of taxonomic work and theoretical work and theoretical comprehension of its bases is shown. Such features of modern biological systematics as its accessibility for new results, criticism in respect of external morphological characters, and interest in intraspecific variability are connected with this aspiration. This motive comes into contradiction with a tendency to withdraw the problem of truth as such, which takes place in some brunches of theoretic systematics.